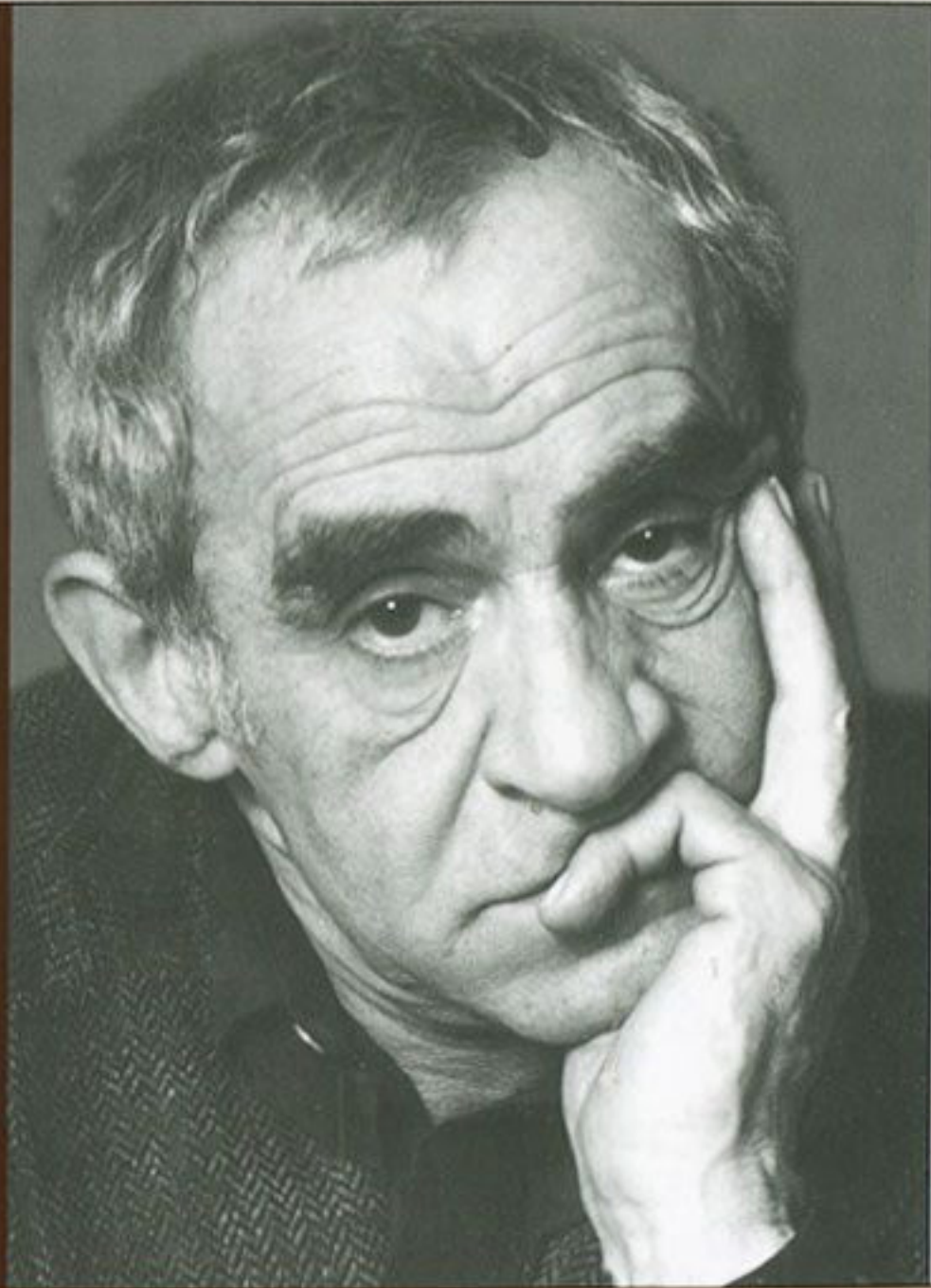


# Зяма

*Это же Геродт!*



**+ DVD в подарок**

*Иван*

**ДЕКОМ**

Имена (Деком)

Коллектив авторов  
**Зяма – это же Гердт!**

«Деком»

2013

ББК 85.143(2)

### **Коллектив авторов**

Зяма – это же Гердт! / Коллектив авторов — «Деком»,  
2013 — (Имена (Деком))

ISBN 978-5-89533-294-8

Зиновий Гердт был не только замечательным актером, но для многих – воплощением чести и достоинства, мудрости и остроумия, истинно мужской привлекательности. Как мог уроженец местечка, слесарь-электрик, из-за тяжелого фронтового ранения укrywшийся за ширмой кукольника, не обладавший «звездной» внешностью, достичь артистической славы и стать предметом всеобщей, поистине всенародной любви? Об этом рассказывают люди разных поколений и профессий, бывшие с Гердтом на протяжении многих лет. А представляет их читателю жена и друг З. Е. Гердта – Татьяна Александровна Правдина. Книга пользуется неизменным вниманием читателей и выходит девятым изданием, включающим новые разделы. Компакт-диск прилагается только к печатному изданию.

ББК 85.143(2)

ISBN 978-5-89533-294-8

© Коллектив авторов, 2013

© Деком, 2013

## Содержание

Об Исае Кузнецове	7
Исай Кузнецов	9
О Львовских	25
Исай Кузнецов	29
Конец ознакомительного фрагмента.	33

# **Зяма – это же Гердт!**

**Составители Я. И. Гройсман,  
Т. А. Правдина**





*Прошло семнадцать лет, как не стало Гердта – Зиновия Ефимовича, или просто Зямы. То, что не только близкие и друзья, но и многие, многие совсем чужие звали его так, он считал наградой значительно более ценной, чем все самые высокие звания и ордена, приравнивая ее разве только к военным наградам.*

*Поэтому книге дали такое название.*

*Мы прожили вместе тридцать шесть лет. Сегодня это немногим меньше половины моей жизни.*

*Но наша жизнь продолжается, так как для меня его не стало только физически, потому что на каждую свою мысль, поступок, решение я слышу и чувствую его отношение – радостное или сердитое – и спорю, убеждаю, соглашаюсь.*

*Дни идут, а годы летят, – часто говорил Зяма. Книга вышла двенадцать лет назад, и за эти годы ушли из жизни ряд замечательных ее авторов. Но пока мы, живущие, помним покинувших нас, все они – часть нашей жизни...*

*Неоднократные переиздания книги позволяют нам думать, что она снискала расположение читателей. Поэтому, переиздавая книгу в очередной раз, мы решили использовать технические достижения времени и прибавить к ней самого ее героя – прилагаем диск с записью вечера З. Е. Гердта «Рассказ о профессии, о друзьях, о себе», сделанной в 1994 году, а также приложить перечень ролей, сыгранных Зиновием Ефимовичем в театре и кино.*

*Кроме того, помещаем рассказ о «продолжении» Гердта – памятнике, поставленному земляками и возвратившем его в родной Себеж.*

*Т. А. Правдина*

## Об Исае Кузнецове



*Я думаю, что независимо от социальной принадлежности во всех слоях российской жизни принято ходить в гости и, конечно, приглашать к себе. К кому-то чаще, к кому-то на «календарные» дни – именины, рождения, годовщины свадьбы, дни памяти.*

*И мне всегда интересны присутствующие. В каких-то домах каждый раз встречаешь совершенно «недавних» людей, а есть семьи, где основной состав «застольцев» неизменен, притом на протяжении долгих лет, и их даже не приглашают, а просто есть замечательная уверенность, что и для них этот день важен. Не знаю, как в провинции, в Москве таких домов, по моему, маловато. Лет двадцать назад Зяма и я были приглашены на день рождения человека, с которым познакомились незадолго до этого, чрезвычайно важного, занимающего «солид-*

ный» пост. И как приятно мы были удивлены, что только мы – «новенькие», а все остальные – школьные и институтские друзья наших хозяев. И от этого наши новые знакомые стали нам сразу ближе.

Всё это я к тому, что хочу сказать об Исае Кузнецове. Он самый давний Зямин друг, с «до-войны», с ФЗУ, со студии, из тех, кто знает все достоинства и недостатки друга, всё прощает, потому что любит. В 1960 году, когда я стала Зяминой женой, они, разведенные разными направлениями своей деятельности, естественно, общались, но не так часто и тесно, как раньше. Мы с Исаем и его женой Женей, конечно, познакомились, но редко бывали друг у друга, встречались у Львовских, в театрах, так сказать, «светское» знакомство, без настоящего чувства и представления о человеческой сущности каждого. Со временем я стала читать сначала его рукописи, а потом и книги. До этого я знала его и Авы Зака пьесы по спектаклям, а это все-таки опосредованное знакомство с автором через актеров и режиссеров, а тут я поняла, что Исай имеет в современной литературе очень свой голос, спокойно и мягко рассказывающий о событиях, чувствах и людях. Он делает это так объемно и вместе с тем тонко, что непременно вызывает ассоциации в восприятии читателя. Возникает мысль: «Да, да, я это знаю, я это чувствовала, а он так замечательно это выразил!» Именно то, что мы думаем, когда читаем Чехова (Бунина, Куприна... список имен настоящей русской литературы, слава Богу, у нас не маленький). Но о гостях.

Позже и, увы, без Зямы, я была на торжествах у Исаия и Жени Кузнецовых. Было очень много гостей – родственников и друзей, старых, молодых, детей. Все знали Зяму, большинство – лично, а дети – из телевидения, фильмов и рассказов старших.

Я знакома с семьей Кузнецовых больше полувека, но все другие гости моего, старшего поколения были «давнее». Самым главным в атмосфере дома было равенство, а отсюда – полная свобода и естественность всех. Тосты умудренных и совсем «мелких» выслушивались с одинаковым вниманием или его отсутствием, как это бывает иногда в разгаре застолья. Но равно! Ясно было, что это дом, где не заставляют «уважать и заботиться», а просто для всех членов этой большой семьи и уважение, и забота – естественное, повседневное состояние. Думаю, это заслуга Деда и Бабки, Исаия и Жени, их ощущение необходимости простоты. Как говорится, «именины сердца» – вот что это был за вечер!

Возвращаясь, я думала о том, какое счастье, что на протяжении жизни у Зямы был такой друг. Деликатный, естественный, верный. Никогда не выпячивающий себя, не заносившийся, восхищенно встречающий чужой талант. Последние годы Исай с Женей, Зяма и я виделись чаще. Наверное, потому, что, как говорят англичане, а *friend in need is a friend indeed* (друг в беде – настоящий друг). Поддерживая Зямин дух, Исай организовал встречу студийцев. Они собрались у нас, и счастьем было видеть, как они все помолодели в этот вечер, вспоминая свою юность.

Читая книги Исаия, на протяжении лет видя, каким он был другом и каков он дома, я понимала, что он, не формулируя этого для себя, стоял на твердой основе, которой верен неизменно: семья и друзья. И потому обладал таким несуетным, вызывающим уважение чувством собственного достоинства. Вероятно, так было всегда, но кажется, что в нынешнее время особенно, – таких людей раз-два и обчелся!

## Исай Кузнецов Зяма

*У нас еще не отняты права.  
Мы говорим веселые слова.  
И только в звонкой доблести острот  
Пред нами жизнь как подвиг предстает.*

*Мирон Левин*

Зиновий Гердт читает Пастернака.

Четыре дня подряд, каждый вечер, я сижу у телевизора, смотрю на него, слушаю, вспоминаю...

Он именно читает. Не как артист, выступающий в концерте, просто – читает. Сидит у себя в саду с синим томиком Пастернака из «Библиотеки поэта», потрепанным, разбухшим от закладок, и читает. Читает, не заглядывая в него, сбивается, вспоминает, поправляется...

Я хорошо знаю эти стихи, те, что он читает, невольно вторю ему шепотом. Иногда он все-таки открывает книгу – на какое-то мгновение – и снова читает, рассказывает о случайной встрече с самим поэтом, о том, как читал стихи Пастернака Твардовскому, как тот слушал, и снова – стихи... Вдруг, закончив читать, смеется. Смеется от восхищения, от удивления перед силой стиха, его красотой, точностью слова, музыкой...

– Вот так, ребята... – говорит он.

Я всматриваюсь в лицо восьмидесятилетнего человека, читающего Пастернака. Да, постарел... Постарел, но не изменился. Узнаю его смех, жесты, интонацию и эти слова: «Вот так, ребята...»

Мы бродим по почти безлюдным улицам города, которого больше нет. Та Москва, еще довоенная, не добравшаяся до своих отдаленных окраин, еще не поглотившая их, ушла навсегда. Москва до войны – город, нынешняя – мегаполис.

Когда репетиции в Арбузовской студии кончаются поздно и трамваи автобусы уже не ходят, добираться домой – а мы оба живем на окраине – можно только пешком, такси ни ему, ни мне не по карману И мы гуляем по городу.

Медленно светлеющее небо... рассвет, в котором теряют яркость всё еще горящие фонари... редкие, подгулявшие прохожие... обочины тротуара в белых разводах тополиного пуха... Тополиный пух – середина июня...

*Кругом семенящейся ватой,  
Подхваченной ветром с аллеи,  
Гуляет, как призрак разврата,  
Пушистый ватин тополей...*

Бросить спичку – и легкий язычок пламени быстро, как по бикфордову шнуру, заскользит вдоль тротуара...

Мы бродим по городу и читаем стихи. То он читает, я слушаю, шепча за ним знакомые строки, то читаю я, то оба вместе, в два голоса – Маяковского, Багрицкого, Блока, Пушкина и, конечно, – Пастернака, открытого нами недавно и сразу ставшего любимым.

Нет, не сразу. Помню, как с трудом прорывался к нему, листая маленькую книжку с двухполосной серо-белой обложкой, и как вдруг, неожиданно, он стал понятным, своим, близким и – необходимым. Не так ли было и у Зямы?

Милан Кундера пишет, что память предлагает нам не движение, не кинофильм, а фотографию, нечто застывшее, статичное – мгновение.

Отчасти и так. И все же не всегда статичное, иногда – пусть и короткое, но отнюдь не застывшее.

Вот одна из таких фотографий: мы сидим на скамейке, на бульваре у Никитских ворот, рядом с памятником Тимирязеву, и читаем стихи. К нам подходит женщина в заношенном, когда-то белом плаще, в беретике, из-под которого выбиваются спутанные, седеющие волосы, с мутноватой, полупьяной улыбкой на одутловатом лице. Зяма смотрит на нее с любопытством, я – с легкой брезгливостью.

– Мальчики, – говорит она, слегка покачиваясь, – угостите папироской.

Зяма лезет в карман, достает узкую пачку «Казбека». Женщина берет папиросу, садится рядом, улыбается ему, улыбается прищурившись, многозначительно, легко догадаться, что означает эта улыбка, но Зяма делает вид, что не понимает, дает ей прикурить и тоже улыбается. А она перестает улыбаться, взгляд ее делается усталым и грустным...

– Ты славный мальчик, – говорит она. – Хороших людей на свете мало, очень мало. Одного я знала. О нем сейчас говорят плохо. Очень плохо. О хороших людях всегда говорят плохо... А он... Он был замечательный человек. Да... замечательный...

– Кто же он, такой замечательный? – спрашивает Зяма.

Она вскидывает голову и тихо, очень тихо, но едва ли не с вызовом произносит запрещенное имя:

– Бухарин. Николай Иванович.

– Вы знали Бухарина? – спрашивает Зяма.

– Я работала с ним... В «Известиях».

Она встает и медленно, уже не пошатываясь, уходит. Мы молчим, глядя, как она идет в сторону Пушкинской площади, туда, где стоит многоэтажный дом «Известий», в котором она еще недавно работала.

– Наверно, была у него секретаршей, – говорит Зяма. – Или стенографисткой... И была влюблена в него...

*А в наши дни и воздух пахнет смертью,  
Открыть окно, что жилы отворить...*

Произнес кто-то из нас эти пастернаковские строки? Или просто подумалось? Но держатся в памяти, связанные с этой встречей. А вот слова, сказанные после долгого молчания Зямой, помню.

– Вот так, ребята... – задумчиво сказал Зяма.

Тысяча девятьсот тридцать девятый... Год назад арестован мой отец...

Через два года здесь же, у Никитских ворот, я слушал речь Молотова. Война... Война, оборвавшая привычную жизнь, а с ней и нашу юность.

В тот день я шел к Саше Гинзбургу, еще не ставшему Галичем, делать какие-то поправки к пьесе, написанной нами вместе с Севой Багрицким. Севы в Москве не было, он отдыхал вместе слевой Тоомом и Наташей Антокольской в Коктебеле, и поправки предстояло делать без него – завтра, в понедельник, их надо представить в репертком. Уже не помню, зашел я к Саше или просто позвонил.

Какие поправки?! Война!

И вот уже новая фотография: я иду с Зямой по Страстному бульвару в сторону Пушкинской площади... Откуда взялся Зяма? Кажется, я позвонил ему, и мы встретились у одной нашей общей знакомой, жившей на Арбате. По-видимому, долго у нее не засиделись. Возле Литературного института навстречу нам стремительно, или вернее целеустремленно, шагают

Борис Слуцкий, Павел Коган и Миша Кульчицкий. Они направляются в райвоенкомат – проситься на фронт.

Всего четыре месяца прошло со дня премьеры «Города на заре». В студии готовились к репетициям «Рюи Блаза» и нашей «Дуэли». Но мы с Зямой не сомневались – в такие дни надо не репетировать, а воевать. И тоже отправились в военкомат. Мы были освобождены от действительной службы, и у обоих в военных билетах стояло: «Годен. Не обучен».

Ничего, обучат!

От моего дома в Останкине до сада имени Калинина пять минут ходьбы. Оттуда до наших окон еще недавно доносились звуки духового оркестра. Там смотрели кино, танцевали, просто гуляли. Сейчас из черных репродукторов над входом в сад до нас, повторенные эхом, доносятся только предупреждения: «Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!» Во дворе нашего дома вырыта щель на случай бомбежки...

Второй месяц войны...

Почему Зяма, живший у Тимирязевки, призывался здесь, у нас в Останкине, в клубе имени Калинина, не знаю. Но мы сидим на садовой скамейке возле продолговатого деревянного здания кинотеатра, где заседает призывная комиссия, и ждем, когда выкрикнут его фамилию.

Для того чтобы понять, что такое война, есть только один способ – пройти через нее. И хотя Москву уже бомбили, мы еще плохо представляем, что нас ждет. Совсем недавно, застав нас с Зямой за обычным соревнованием в остроумии, Александр Константинович Гладков спросил мрачно: «И в гестапо вы также будете острить?» Не слишком удачная шутка. Однако запомнилась. Мы еще многого не понимали. А потому сидя на скамейке в саду имени Калинина, перед расставанием на долгие военные годы, не думая, не веря, что можем никогда больше не увидеться, мы, как обычно, шутили и смеялись.

Чистая случайность, что место его призыва оказалось рядом с моим домом. И все-таки мне приятно думать, что я был с ним, когда он уходил в армию, уходил воевать...

Нам было по 14 лет, когда мы познакомились.

Мы оба учились в ФЗУ Электрокомбината – я на слесаря-инструментальщика, он на слесаря-лекальщика, специальности более тонкой. Впрочем, ни он, ни я вовсе не мечтали отдать этим профессиям всю свою жизнь. ФЗУ – это два года рабочего стажа, необходимые в те времена для поступления в какой бы то ни было институт. Однако все сложилось иначе: ни он, ни я в институт так и не поступили.

Пятнадцатого ноября 1932 года – смешно, но я почему-то помню эту дату – мы оба пришли в просторное помещение на верхнем этаже одного из зданий Электрокомбината поступать в заводской ТРАМ – Театр рабочей молодежи, руководителем которого был бывший актер Василий Юльевич Никуличев. Трамбовцы звали его по-домашнему дядей Васей. Со временем Зяма придумает к его имени рифму: «Дядя Вася, иди одевайся».



1938

Василию Юльевичу человеку не лишенному амбиций, название «драмкружок» не нравилось. А потому и ТРАМ. Впрочем, электрокомбинатовский ТРАМ и не был обычным драмкружком. Кроме репетиций пьесы Валентина Катаева «Ножи», там шли ежевечерние занятия: техника речи, биомеханика с Зосимой Злобиным, учеником Мейерхольда, танец с Верой Ильиничной Мосоловой, известной в свое время балериной, история театра.

Нас приняли.

В тот день, день нашего знакомства, и началась наша с ним дружба. С год назад я со своей семьей переехал из Ленинграда в Москву. За этот год у меня не появилось ни одного приятеля, не скажу – друга. Зяма был первым и долгое время – единственным.

У дружбы, как у всякого чувства, как и у любви, есть свои сроки. Но в отличие от любви они определяются не самим чувством, а чем-то иным. Наша дружба не то чтобы оборвалась, но сделалась больше памятью о себе, чем самой дружбой, когда наши пути привели нас в разное

окружение: его – в театр Образцова, на эстраду, меня – в драматургию. Было еще и кино, но как-то на разных параллелях. Лишь однажды пути наши чуть не пересеклись, когда Володя Бычков пытался пригласить его сниматься в нашей картине «Мой папа – капитан». Почему-то этого не произошло. Не состоялось. Но это уже не в ключе дружбы – просто пересечение.

Первое время после войны мы встречались очень часто. Пытались втроем, вместе с Мишей Львовским, написать пьесу о человеке из прошлого, попавшем в наши дни. Тогда это была еще свежая идея. Помнится, сочиняли, на этот раз с Галей Шерговой, лирическую песню, в которой был припев: «Липа цветет, липа цветет...» Песню не дописали, поняли всю двусмысленность этого лирического припева. Пьеса же так и не написалась – охладели к самому замыслу.

Потом стали встречаться все реже и реже, хотя до самых последних лет его жизни он бывал у меня, мы виделись с ним у Миши Львовского, я заходил к нему, встречались в Доме кино, в других местах. Я по-прежнему любил его, да и он, смею думать, – меня. Но у него была своя жизнь, у меня – своя.

А тогда, до войны, мы жили одной жизнью. Учась в ФЗУ, хотя и в разных группах, но в одной смене, мы возвращались с ним домой на 39-м трамвае. Жил он далеко, в Астрадамском проезде, но частенько ночевал у своих родственников на Грохольском. Тридцать девятый шел в Останкино, полдороги было нам по пути. Полдороги – по пути... Так оно и вышло, в масштабе нашей жизни.

Итак – ТРАМ. Сперва – при Электрокомбинате, потом – при ЦК профсоюза рабочих электростанций. Никуличев был человек весьма деятельный и добился профессионализации нашего коллектива. Мы переехали на Раушскую набережную, в клуб Мосэнерго. Сюда впервые пришел Валентин Николаевич Плучек, которого Никуличев пригласил для совместного руководства.

С его приходом наш коллектив стал меняться. Плучек принес с собой то, чего не хватало Никуличеву – подлинную культуру театра. И, как обычно бывает в театре, коллектив раскололся по принципу приверженности тому или другому руководителю. Мы с Зямой предпочли Плучека.

Зяма часто вспоминал своего школьного учителя литературы, привившего ему любовь к поэзии. Отчасти и эта любовь к стихам сближала нас: Пушкин, Лермонтов, Блок, Маяковский, Багрицкий... Человеком, открывшим нам другие имена – Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Ходасевича, – был Валентин Николаевич.

Началось еще в ТРАМе, продолжалось и в студии. Он читал их сам, приглашал известных чтецов, побуждал нас ходить на концерты Яхонтова. В физкультурном зале школы, напротив консерватории, мы слушали нигде не напечатанные стихи Мандельштама, Цветаевой, Ходасевича. Помню тогдашний «самиздат» – потрепанные рукописи цветаевского «Казановы», стихов Ходасевича и Мандельштама.

Не случайно возникла дружба студии с молодыми поэтами: Борисом Слуцким, Давидом Самойловым, Женей Аграновичем, Николаем Майоровым, Борисом Смоленским, приведенными к нам Мишей Львовским, который жил с Зямой в одном доме.

Зяма и сам писал стихи. У меня сохранилось несколько его стихотворений, присланных мне в конце войны на фронт.

Среди этих стихов есть несколько строк, которые мне особенно дороги. В полушуточном стихотворении он пишет о своих друзьях

*У меня их трое верных,  
Трое храбрых, беспримерных,  
Трое! Кто из них верней?  
Кто вернее в дружбе, в чести,*

*Кто стоит на первом месте:  
Русский, грек или еврей?  
Про кого сказать: «Во-первых»?  
У того покрепче нервы,  
У другого сердце шире,  
Третий мудростью возьмет.  
Я скажу: «Во-первых – трое»,  
– Это будет верный ход!*

Грек – это Максим Селескириди (Греков), воевавший в тылу врага, русский – Женя Долгополов, любимец студии, человек действительно с широким, добрым сердцем, – увы, с войны так и не вернувшийся... Что касается третьего, то слова о его мудрости, конечно, лишь дружеское преувеличение и прежде всего свидетельство верности дружбе самого автора.

Но своих стихов он не читал. Он слишком хорошо знал, что такое подлинная поэзия. Читал тех, кого любил.

И я не удивляюсь, что, будучи уже известным артистом, он говорил: «Больше всего я хочу читать стихи людям».

Но были не только стихи. Шли репетиции, игрались спектакли. Никуличев после «Ножей» поставил «Фантазию» Козьмы Пруткова, «Свои люди – сочтемся» и «Бедность – не порок» Островского, где я играл Африкана Коршунова, а Зяма – того самого «Англичанина», который у Островского лишь упоминается. По-настоящему первую роль он сыграл у Плучека в «Женитьбе Фигаро». Играл он Бартоло. Играл очень весело и смешно, настолько смешно, что мы, на сцене, с трудом удерживались от смеха.

Но в конце концов наш театр, как почти все профсоюзные театры, примерно в тридцать седьмом был закрыт. Я поступил во вспомогательный состав Камерного театра, Зяма – в кукольный. Не в Образцовский. Был еще один кукольный театр, кажется, на Никольской. Так что его карьера кукольника началась задолго до того, как он стал ведущим артистом в театре Образцова.



«Женитьба Фигаро». Бартоло – Зиновий Гердт. Постановка Валентина Плучека, 1939

И вот еще одна дата – 19 мая 1938 года.

День создания так называемой Арбузовской студии. В этот день, «в час пурпурного заката», как записано в «Студиате», шуточной истории студии, на квартире у Валентина Николаевича собрались человек десять. Кроме самого Плучека и Александра Гладкова, четверо из нашего бывшего театра, несколько студентов училища при театре Мейерхольда, два профессиональных актера. Арбузов, один из инициаторов создания студии, отсутствовал – он был на футбольном матче, пропустить который мог только если бы лежал на больничной койке, без сознания. Не было и Зямы: то ли не смогли его предупредить, то ли был занят в спектакле, уже не помню.

Идея написать пьесу самим, методом импровизации, принадлежала Арбузову. Самое удивительное то, что она была осуществлена.

Когда по предложению, кажется, Гладкова было решено писать пьесу о строительстве Комсомольска, мы начали сочинять заявки на роли, которые хотели бы сыграть. Мы придумывали образы наших героев, писали их биографии. Эти наши сочинения читались в Раздорах, на даче у Милы Нимвицкой. Наши руководители, мы называли их «авгурами», были в состоянии неподдельного энтузиазма. Арбузов сказал, что по этим заявкам можно написать не одну пьесу, каждая заявка не просто на роль – на пьесу.

Из всех, кто в тот летний день читал свои заявки, только двое, Мила Нимвицкая и Зяма, да еще Аня Богачева (Арбузова), пришедшая к нам несколько позже, осуществили свои замыслы – довели их до спектакля.

«Город на заре» – пьеса о строительстве на Дальнем Востоке, на берегах Амура, города Комсомольска. Начинается она с прибытия парохода «Колумб» с будущими строителями, добровольцами со всех концов страны: из Москвы, Иркутска, Ленинграда, Тулы, Саратова, Саранска, Одессы... Из Одессы приезжает и Зямин герой, Веня Файнберг.

Зямина заявка на роль Вени Файнберга сохранилась – у меня лежат две школьные тетрадки, на одной – портрет Гоголя, на другой – Калинина. На первой рукой Зямы написано: «Глупая вошла воображения» – не мог удержаться от легкой самоиронии.

В одной из тетрадей – описание задуманного им героя, его биография, во второй – отношения с другими персонажами. Очень многое из задуманного Зямой вошло в нашу пьесу и спектакль, в том числе и его отношения с Белкой Корневой, героиней Милы Нимвицкой, даже отдельные детали и реплики.

Не было в его замысле только бегства из города – это из моей заявки на роль Миши Альтмана. Уже на этапе написания сценария пьесы литературной бригадой, в которую входили и мы с Зямой, обе эти роли слились в одну – появился некий гибрид, Веня Альтман.

Зяма не сразу принял эту трансформацию своего образа: его герой обладал сильным характером, мой Миша оказался человеком слабым. Не справляясь с непосильными для него трудностями, он вместе с Зориным, крестьянским парнем, с первых дней взявшим его под свое покровительство, бежит из города.

Предполагалось, что работать над этой ролью, над ее созданием мы будем оба, поочередно, однако вся роль, кроме эпизода в тайге после бегства из города, создана Зямой. Эту сцену в тайге из-за его болезни пришлось импровизировать мне, но и в нее Зяма внес существенные изменения.

Веню Альтмана я так и не сыграл. Мне досталась роль «бесхозная», не имевшая своего автора, родившаяся в комнате Александра Гладкова, где собиралась литературная группа, – секретаря комсомольской организации города. Но и ее сыграть не довелось – по причине моей молодости, как объяснили мне «авгуры», а вернее, потому, что актером я был неважным... Играл его Саша Галич...

В свое время открытие студии и премьеры «Города...» были событием весьма приметным. И имя Зямы Гердта наряду с именами других исполнителей – Тони Тормазовой, Милы Нимвицкой, Ани Богачевой – с уважением произносилось на студенческих обсуждениях в ИФЛ И и МГУ. Его Веня вызывал у студентов споры, а у студенток – восторг и любовь.

Любопытно – об этом, кажется, где-то говорил Валентин Николаевич, – Зямин Веня привозит в будущий город футляр со скрипкой. Но – цитирую по его заявке – «...когда его просят сыграть, он молча протягивает левую руку и сгибает пальцы в кулак. Средний палец зловеще торчит, несогнутый...» В результате несчастного случая он лишился возможности продолжать учение в консерватории и играть на скрипке...

Почти мистика...

Тяжелое ранение, двухлетнее пребывание в госпиталях, несгибающаяся нога, казалось, ставили крест на его актерском будущем.

«Я, как видишь, опять в госпитале, – пишет он мне на фронт в начале сорок пятого года. – Претерпел, брат, десятую операцию. Однако не дамся голым в руки. Фигурально, конечно, а буквально – постоянно. Приходится, гот дам! В этот присест хочу окончательно долечиться. Надоело все до черта!»

«А я? – пишет он в другом письме. – Изволь: в лучшем случае – актер на хромые роли. Но я зол, зубаст и черств. Думаю, что эти мои новые качества пригодятся. Жду сухих тротуаров, а то на костылях невозможно. Как только повеснеет, уйду из больницы и буду драться».

«Зол и черств» – это, конечно, преувеличение, своего рода самоподбадривание. Злым и черствым он никогда не был и не стал.

Время имеет свои адреса...

Была школа напротив консерватории, где мы репетировали свой «Город на заре» и показывали первые два акта тем, от кого зависело наше будущее, и Зяма, заведующий «осветительным цехом», мастерил из консервных банок осветительные приборы...

Репетиции, репетиции, работа над этюдами... Морозы сорокового года... В школе холодно, кто-то из ребят, уходя на каникулы, выбил стекла в окнах.

Я часто вспоминаю Зямино остроумие, его легкость, постоянную готовность к шутке и розыгрышу. Но это лишь одна сторона тогдашнего Зямы. Когда начиналась репетиция, в нем появлялась и собранность, и сосредоточенность. Работал он с полной отдачей. Да и наши отношения имели более серьезные основы, чем присущая нам обоим склонность к иронии. Мы создавали театр, и это было смыслом нашей жизни. Главное – студия. И когда наше понимание того, что для нее хорошо, а что плохо, не совпадало, мы порой доходили до ссоры.

Наша студийная нетерпимость и требовательность подчас приводила к тому, что мы периодически кого-нибудь исключали из студии. Правда, ненадолго. Так было и с Сашей Галичем, и со мной, и с Зямой. Исключали его, если мне не изменяет память, после того, как мы перебрались из школы в клуб Наркомфина. Там была бильярдная, куда часто наведывались в свободное от репетиций время и Саша, и Зяма. Вот за игру на бильярде в то время, когда шли репетиции, его и исключили. Это, как впрочем, и курение, считалось нарушением студийной этики. Смешно, но получалось так, что я, будучи членом совета студии, исключал Зяму а через какое-то время он – меня. Но проходило немного времени, и всё это забывалось, и мы сами над этим посмеивались.

Мы были молоды, нетерпимы, но самое главное – любили друг друга.

Была комната Севы, удобная тем, что находилась в пяти минутах ходьбы от школы, где мы репетировали, комната с оставшимися от его отца, Эдуарда Багрицкого, аквариумами, со старой Севиной нянькой, ходившей за ним. Здесь мы – Сева, Миша Львовский, Саша Галич, Зяма и я – сочиняли песенки и сценки для капустников, слушали молодых поэтов или просто,

что называется, трепались. Иногда, впрочем, и выпивали, хотя называть это выпивкой, учитывая сегодняшние масштабы этого занятия, конечно, смешно.

Была и комната Милы Нимвицкой на Покровском бульваре, где мы выпускали стенгазету. Идея выпускать стенгазету принадлежала Плучеку периодически пытавшемуся придать студии вид нормального советского коллектива – попытки, обреченные на полный провал. Мы все-таки не были, да и не могли быть советским коллективом. Встретили мы предложение Плучека без энтузиазма – в самом слове «стенгазета» было что-то казенное, вынужденное, скучное. И мы под руководством Зямы, вернее, под напором его неиссякаемого остроумия, преобразили это понятие. Стенгазеты меняли названия: «Осенний лист», «Весенние маневры», а одна из последних вообще не могла называться стенной газетой – она была вылепленной Милой Нимвицкой из папье-маше полуметровой вазой.

Наша неистощимость в юморе привела однажды Валентина Николаевича едва ли не в ярость. В дни, когда нас выгоняли из здания школы и мы могли оказаться без помещения, вышла стенгазета под названием «Ситуация», в которой вопреки действительно сложной ситуации мы хохмили, отнюдь не соблюдая меры. Мрачно глядя на эту «Ситуацию», Валентин Николаевич произнес более чем странную фразу: «В армии юмор не нужен». Эту фразу Зяма тут же взял на вооружение, применяя ее в самых неожиданных обстоятельствах.

Именно здесь, на квартире Милы Нимвицкой, произошло превращение Зямы в Зиновия Гердта. Случилось это незадолго до показа двух актов представителям тех ведомств, от которых зависела дальнейшая судьба нашей студии. И тут кому-то пришла мысль, поначалу шутовская, что Зямина фамилия звучит несерьезно и недостаточно благозвучно. Не потому что еврейская – никому не пришло в голову считать неподходящей фамилию Саши Гинзбурга. Решили, против чего не возражал и Зяма, придумать ему псевдоним.

Посыпались предложения, самые неожиданные, подчас не лишённые насмешливого подтекста. Они отвергались одно за другим. Кто-то предложил фамилию известной балерины Елизаветы Герд.

Предложение было встречено одобрительно, в том числе и Зямой.

– Только обязательно – Герд-т! С буквой «т» на конце, – категорически заявил Арбузов.

– Герды-ты – это звучит гордо-то, – сострил кто-то. Так Зяма, Залман, как мы часто его называли, стал Зиновием Гердтом.

Событие это было отмечено и в «Студиаде», которая, как и пьеса, сочинялась коллективно – Арбузовым, Плучеком, мной и самим Зямой – на квартире Gladкова.

*...Это Зяма Храпинович,  
Что от имени отрекся,  
Ради клички сладкозвучной.  
И как только он отрекся,  
«Гердт» – прокаркал черный ворон,  
«Гердт» – шепнули ветви дуба,  
«Гердт» – заплакали шакалы,  
«Гердт» – захохотало эхо.  
И, услышав это имя,  
Он разжег костер до неба  
И вскричал: «Хвала природе!  
Я приемлю эту кличку!..»*

Я пытаюсь сквозь нагромождение годов и событий разглядеть его таким, каким он был в те довоенные годы.

Невысокий, худощавый, черноволосый и темноглазый, с густыми бровями, с годами еще более погустевшими, с быстро меняющимся выражением лица, от веселого, озорного до серьезного, задумчивого и даже грустного...

Но почему-то возникают лишь какие-то случайные (еще раз сошлюсь на Милана Кундера) фотографии.

...Концерт в Большом зале консерватории, поет Долива. Поет песни Бетховена: «...кто врет, что мы, брат, пьяны? Мы веселы просто. Ну, кто так бессовестно врет...» Мы с Зямой в толпе, аплодирующей певцу, вызывающей его на бис. И вдруг Зяма кричит: «Требуем полного Долива!» Мне смешно, и я вместе с ним кричу: «Полного Долива!»

...Я лежу больной в своей комнате, в Останкине. Зяма сидит рядом, рассказывает о том, что нового в студии. Приходит женщина-врач и заставляет меня смерить температуру при ней. Мы с Зямой шутим, острым, я – с градусником под мышкой. Зяма рассказывает какой-то анекдот, врач смеется. Смеясь, смотрит на градусник и переводит на меня удивленный взгляд. «Вы знаете, что у вас 39 и 6?» – спрашивает она. Зяма пожимает плечами: «39 и 6? Подумаешь! Для него это не температура». Врач с трудом сдерживает улыбку.

...На последние деньги пьем в только что открывшемся коктейль-холле достаточно дорогой для нас напиток вместе с симпатичной девушкой, очередным Зямыным увлечением. Зяма шепотом спрашивает: «У тебя что-нибудь осталось?» Я пытаюсь незаметно нащупать в кармане какую-то мелкую купюру, отдаю ему. Выходим на улицу. Зяма останавливает такси. «Мы вас отвезем», – говорит он девушке. «Зачем? – удивляется она. – Я живу совсем близко». Но все же, довольно посмеиваясь, садится в такси. Через два-три квартала выходим и провожаем ее до подъезда.

– Вот так, ребята! – удовлетворенно говорит Зяма.

Трамваи уже не ходят. Мы бродим по засыпающему городу

...Мой день рождения. Сколько мне? Восемнадцать? Двадцать один? Не помню. Мама хлопчет у стола. Зяма поздравляет ее и, одобрительно оглядев заставленный закусками стол, потирает руки и важно спрашивает: «А сладкий стол будет?» – «Будет, будет!» – смеется мама, она давно знает Зяму и относится к нему с нежностью. По сей день живет в нашем доме этот вопрос: «А сладкий стол будет?»

Мелочи, но почему-то запомнились...



### Времена студии

Тогда я еще не понимал, что его веселость, остроумие, озорство естественно и неразрывно сочетаются с глубоко скрытой – может быть, даже для него самого – лирической основой.

Не случайно в его заявке на роль в будущем «Городе на заре» отчетливо проявилась та лирическая тема, которая впоследствии так покорила зрителя в его «Фокуснике». Даже в

остром, беспощадном решении образа Паниковского проступает эта горькая, щемящая, лирическая нота.

При всей его веселости, озорстве, любви к остроумам в нем был тот высокий серьез, без которого нет, не может быть подлинного таланта.

После войны Зяма пришел в театр Образцова – спрятал свою больную ногу за ширмой. Но прошло немного времени, и его имя, имя человека за ширмой, стало произноситься с восхищением.



Люциус – «Чертова мельница»

Как-то, уже после своей демобилизации, я провожал его на спектакль. Мы шли по Тверской, и он с увлечением рассказывал о работе в новом спектакле. Он готовил роль конференсье в «Обыкновенном концерте», читал мне тексты, сочиненные им для конференсье – куклы,

ставшей столь знаменитой, что на восьмидесятилетии Зямы она оказалась едва ли не самым ярким его участником.

«Обыкновенный концерт» стал событием в театральной жизни Москвы, и не будет преувеличением сказать, что благодаря именно его великолепной игре. В ней сказался и опыт студийных импровизаций, и его остроумие, а главное – врожденный артистизм. Я восхищался, любуясь его филигранной работой с куклой, радовался за него – это наш Зяма!

Затем новая блестящая работа – Люциус в штоковской «Чертовой мельнице». И вот уже для зрителей театр Образцова становится театром Образцова и Гердта, что неизбежно должно было, рано или поздно, привести к его уходу – руководители театров ревнивы.

Зямин голос, его своеобразие – это, конечно, дар небес. Но голос – всего лишь голос. Для того чтобы он стал тем, чем стал голос Гердта, за ним должна стоять личность. Зяма был личностью привлекательной и неповторимой.

И когда этот голос прозвучал в фильме «Фанфан-Тюльпан», стало ясно, что этот голос за кадром – голос выдающегося артиста. Он дублирует в «Полицейских и ворах» Тото, и Тото уже немислим для нас без голоса Гердта. Это не просто дубляж.

Голос Гердта завоевал зрителя. И стало совершенно неизбежным появление на экране самого артиста.

Появился. Стал одним из самых любимых актеров. И никому не приходило в голову замечать его хромоту.



Апломбов – это четыре руки и один голос

Зиновий Гердт – за ширмой, за экраном и на экране кино, на эстраде и на экране телевизора – отличался одним редким и неизменным свойством: он был предельно естествен и в гриме, и без него, в театральном костюме и в своей куртке за столом в «Чай-клубе», он вызывал полное доверие к себе, к тому, что говорил, как слушал других, как смеялся.

Миша Львовский рассказывал, как однажды, стоя за кулисами, разговаривал с ним. И когда Зяма вышел на эстраду, в нем не произошло никаких изменений, он и на сцене был таким же, как только что за кулисами. Стоявший рядом с Мишей известный артист, покачав головой, признался, что на такое он не способен.

Зяма сыграл в кино множество эпизодических ролей, самых разнообразных, и в каждой был естествен, органичен и – неподражаем. Достаточно вспомнить его еврея с фамилией Сталин в фильме «Солдат Чонкин» или дедушку в картине Быкова «Автомобиль, скрипка и собака Клякса».

И вот он появился на экране телевизора. И стало ясно, уже не только знавшим его лично, что он обладает редким, удивительным даром – даром общения.

Всякий талант – загадка. И сколько бы мы ни старались ее разгадать, загадка остается. Это – тайна.

Но тогда и в ТРАМе, и в студии, при том что все мы Зяму любили, в том числе и наши Николаевичи – Арбузов и Плучек, воспринимали мы его все же несколько поверхностно. Когда его лирическая, глубинная натура чуть приоткрывалась, это вызывало поток шуток. Думаю, что это его задевало, и не отсюда ли его сдержанность в отношении к своим учителям, особенно к Плучеку. Недавно Мила Нимвицкая, уже после Зяминой смерти, сказала: «А ведь мы и не предполагали, что он вырастет в такую крупную личность... Зяма, Зямочка...»

Да, крупная личность.

С годами Вани, Ванюши, Ванечки становятся Иванами, Иванами Петровичами. Зяма оставался Зямой. Нет, конечно, к нему обращались по отчеству, называли Зиновием Ефимовичем люди официальные и малознакомые. Для тех, кто его знал, он был как был, так и остался Зямой. Это не было просто привычкой, это было проявлением особой, почти интимной формой его восприятия. Зрители знали его как Зиновия Гердта, но и они частенько с любовью обращались к нему по имени.

Он этим гордился. Однажды сказал: «Самое большое из всего, чего я добился, это то, что зрители называют меня Зямой».

За этим не просто популярность, не просто симпатия. Он действительно оставался таким, каким был в юности, – редкий случай самосохранения личности в тех условиях, в каких проходила наша жизнь. Да, старел, лицо покрывалось морщинами, седел. Делался глубже, значительней. Но всякий раз, встречая его в домашней обстановке, в гостях в Доме кино, глядя на него по телевизору, я узнавал его таким, каким знал в молодости. Он не менялся в самом главном – в естественности поведения. Ему была чужда любая поза. Он никогда не предавал самого себя. Никто никогда не видел его подписи под сомнительными, угодными начальству письмами. Не менялось с годами и его чувство юмора, а юмор его был легким и заразительным. И таким оставался. А как часто у многих и многих остроумие превращается в злословие, а юмор – в пустое зубоскальство!

В сорок первом, в самом начале войны, в Ялте от туберкулеза умер поэт Мирон Левин. Его четверостишием я воспользовался для эпиграфа к этим заметкам.

Да, как ни странно, в остроумии есть своя доблесть! И если она есть, жизнь предстает как подвиг.

У Зямы была такая доблесть. И не только в остроумии...

«Но где снега былых времен?» – спрашивал когда-то средневековый французский поэт Франсуа Вийон.

В нашей, и только в нашей, памяти.

В памяти наших детей и внуков останутся снега других времен. Всё проходит...

Куда делись патефоны, без которых представить себе довоенные времена просто невозможно? Граммофоны наших отцов и дедов сохранились только в музеях да в реквизиторских киностудий и театров. Ушли, уходят радиолы, проигрыватели.

Недалек час, когда устареют и лазерные диски, уже пришло цифровое телевидение, Интернет и еще Бог знает какие чудеса... Истлеют, сотрутся телевизионные записи и негативы кинолент. Кое-что, быть может, попытаются перевести на новые, неведомые нам способы воспроизведения, и наши правнуки увидят снега былых – наших – времен.

Что-то их удивит, что-то насмешит, а что-то, и очень многое, они просто не поймут.

Да что говорить?! Даже совсем недавнее, прожитое нами в молодости, нам же самим уже непонятно и загадочно, как времена царя Хаммурапи. Мы сами удивляемся: это с нами было? И мы этому верили?

Снега былых времен...

Когда я думаю о Зяме, то спрашиваю себя: будет ли понятно нашим внукам и правнукам, что значило для нас это имя – Зиновий Гердт и чем он был для многих, многих миллионов телезрителей, регулярно смотревших «Чай-клуб»? Не знаю. Многое окажется для них непонятным, наивным, старомодным.

Но то, что является основой его удивительного таланта – естественность, доброжелательность, умение слушать своего собеседника, редкое, беспримерное умение, его улыбка, его смех, – окажется, я в этом убежден, понятным и близким для тех, кто способен к восприятию добра.

А таких во все времена хоть и не так много, но все же не так уж и мало.

*1998*

## О ЛЬВОВСКИХ

*Кроме брата Зямы и его сестер, только Исай Кузнецов, Дезик Самойлов и Миша Львовский, я говорю о близких людях, знали Зямочку «целеньким», довоенным – не хромым. Все они рассказывали, как он блистал на танцах в «Крылышках» (в московском зале «Крылья Советов» был самый «злачный» танцевальный зал). Правда, и с хромым с ним любили танцевать все дамы.*

*Когда Зяма и я весной шестидесятого года неожиданно для его и моих друзей ушли из своих предыдущих семей, наступил момент знакомства с окружением каждого. Мы оба были убеждены в правильности наших поступков и совершенно не думали о реакции близких, а она была разной, естественно, жалели «брошенных»...*

*Знакомство с Мишей (Михаилом Григорьевичем Львовским) и Лялей (Еленой Константиновной, его женой) было одним из важных. Я про них знала всё, Зяма рассказал, а сама появилась у них «новенькой» да еще так скоропалительно. Миша, сам женатый во второй раз, совершенно очевидно счастливо и окончательно, переживший Зямы многочисленные романы и успокоенно считавший, что и Зяма остепенился, поскольку последний его брак длился уже восемь лет, удивительно сразу меня принял, стал звать на «ты», и, несмотря на его немыслимую застенчивость, было чувство, что мы всегда были знакомы. Ляля была приветлива, но, естественно, по-женски более настороженна.*



Молодые Зиновий Гердт и Михаил Львовский

*А дальше пошло более глубокое, на деле узнавание и понимание друг друга. Мы общались практически повседневно, то есть если и не виделись какое-то количество дней, то знали всё про работу, радости и неприятности в наших домах. Оказалось, и мы ощущали это как нечто чрезвычайно символичное, что Ляля и я всё наше детство провели рядом: она с родителями жила в Большом Вузовском переулке, а я в Малом, катались на санках с одних горок, стояли в очередях в одних и тех же магазинах, а Лялин папа, Константин Абрамович, преподавал Зяме в ФЗУ начертательную геометрию... Ляльчик, так звали ее Зяма и я, светлый человек, с детской, очень яркой фантазией и доверчивостью: она могла составить в воображении ситуацию и считать ее реальностью и действовать исходя из нее. В этом очень сильное творческое начало, я даже думаю, что именно это свойство способствовало тому, что она, человек абсолютно гуманитарный и, увы, не совсем молоденький, очень успешно освоила ком-*

пьютер. Видя, какое потрясение и восхищение это вызвало у меня, она организовала путем подарков появление компьютера и у меня, убеждая, что и я смогу. Не уверена, но очень хочу.

Я не люблю определение – сильный человек. Ни черта подобного, все бывают слабыми! Только одни жалуются, а другие, и их, к сожалению, меньшинство, обладая внутренней интеллигентностью и достоинством, никогда этого не делают. Зяма на вопрос: «Как дела, как ты себя чувствуешь?» – только несколько совсем последних дней употреблял слово «неважно» вместо обычного «шикарно». А Рина Васильевна Зеленая учила меня никогда не говорить за столом «мне этого нельзя», а только: «спасибо, мне не хочется». Ляльчик, маленькая, хрупкая блондинка, хорошенький «кукленок», не жаловалась никогда. Сердилась, возмущалась несправедливостью и непорядочностью, но даже в самые тяжелые моменты, а их ей выпало более чем достаточно, не стонала, а держалась, ни на кого не наваливаясь. Люди тянулись к ней и любили ее. А для меня она одна из тех немногих, кто помогает держаться в жизни. Миша понимал, как ему повезло. Был трудным, но обожающим мужем.



Михаил и Елена Львовские

*Среди всех авторов воспоминаний о Гердте в этой книге Михаил Григорьевич Львовский занимает особое место – он был самым давним и близким другом Зямы, они были соавторами, написав пьесу в стихах «Поцелуй феи» и пьесу «Танцы на шоссе» (обе были поставлены в театрах, но вскоре запрещены).*

*О Мише – поэте, драматурге, человеке – замечательно написал Исай Кузнецов, стариннейший друг Миши и Зямы, и поэтому я хочу, с разрешения автора, привести здесь его рассказ о Мише. Пусть читателя не удивит, что слово о Львовском пространнее, чем Мишино о Зяме. Мне кажется, что для понимания того, как Гердт стал таким, каким мы его знаем, очень важно видеть человека, сыгравшего в его жизни и работе роль, сравнимую с ролью родителей. Итак:*

## Исай Кузнецов

### Вагончик тронется – перрон останется

*На Тихорецкую состав отправится,  
Вагончик тронется – перрон останется,  
Стена кирпичная, часы вокзальные,  
Платочки белые, глаза печальные...*

*Из пьесы М. Львовского  
«Друг детства», 1961*

*Кого бы я ни вспоминал из дорогих мне людей, уже ушедших от нас, Алексея Арбузова или Зиновия Гердта, Бориса Слуцкого или Давида Самойлова, Севу Багрицкого или Сашу Галича, рядом с ними непременно возникает Михаил Львовский, один из самых дорогих и близких спутников почти всей моей жизни.*

*Познакомился я с ним у Зямы Гердта в доме, где они оба жили летом тридцать девятого года.*

*Я уже говорил, что мы с Зямой днем работали, а вечерами занимались в Арбузовской студии. Миша учился в Литературном институте.*

*Он вошел в Зямину комнату запросто, не постучавшись, и с милой, по-детски обескураживающей улыбкой объявил:*

*– А у меня ангина!*

*Зяма что-то сострил по поводу его болезни и тут же, без перехода, потребовал, чтобы тот почитал свои стихи. Уговаривать не пришлось. Миша прочел небольшое, в восемь строк, стихотворение, которое я запомнил с ходу и помню до сих пор.*

*В Третьяковской галерее есть картина:  
Гуси проплывают в облаках...  
Где теперь ты ходишь, Валентина,  
На своих высоких каблуках?  
Как легки твои лукавые дороги?  
Так ли дни твои по-прежнему легки?  
О какие чертовы пороги  
Ты свои стоптала каблуки?*

*Потом еще одно, тоже очень юношеское, не лишнее спрятанной за иронией грусти. Начиналось оно так:*

*Мы любим девушку заранее,  
Не угадав ее из многих,  
Предпочитаем только крайние,  
Невероятные дороги;  
Мы выбираем три, не меньше,  
Из существующих осанок  
И говорим, что знаем женщин,  
Перечитавши Мопассана.*

Он читал, а Зяма поглядывал на меня с гордостью за своего друга, чувствуя, что Мишины стихи, как говорится, «доходят» до меня. У Зямы было замечательное свойство – он принимал успехи своих друзей как свои собственные.

Потом Зяма привел Мишу почитать стихи в студию. Атмосфера, царившая там, в физкультурном зале школы на улице Герцена, где мы репетировали свой «Город на заре», настолько увлекла Львовского, что он стал не только другом студии, но и активным участником всей нашей жизни. Фактически он стал одним из авторов «Города...», принимая участие в работе литературной бригады на том этапе, когда переделывался последний акт пьесы.

Мишу в студии любили. Подкупали его одаренность, интеллигентность, мягкость характера и, не в последнюю очередь, удивительно тонкие, умные высказывания при обсуждении этюдов, делавшихся в процессе работы над пьесой. В своих воспоминаниях о том времени Давид Самойлов особо отмечает «тончайшие анализы Львовского» на семинарах Сельвинского.

Миша был одним из тех, кто входил в когорту талантливых молодых поэтов предвоенного времени. Само собой разумеется, он их привел к нам в студию, и все они стали ее друзьями.

Надо сказать, что среди молодых поэтов Миша занимал особое место. В его стихах не было того политического накала, который так отчетливо проявлялся в стихах Слуцкого, Кульчицкого или Павла Когана. Он не воспевал героев гражданской войны, не предавался мечтам о будущей победе коммунизма во всем мире, не мечтал «дойти до Ганга и умереть в боях, чтоб от Японии до Англии сияла Родина моя». Его волновали простые человеческие чувства, что и составляет основу подлинной поэзии. А интонация его стихов, их лиричность, их доверительный тон подкупали естественностью и изяществом.

Оговорюсь. Миша вовсе не был чужд свойственной тогдашней молодежи веры в «правоту нашего дела». Даже те, кому судьба их родителей могла бы подсказать, что же такое на самом деле «эта наша советская власть». Все-таки позади был тридцать седьмой год.

Это не вина наша. Это наша беда. Впрочем, и вина тоже.

Понимание со временем к нам придет. Придет оно и к Мише, придет болезненно, драматично, болезненнее и драматичнее, чем для многих из нас.

А потом была война. Призванный в армию, он оказался в частях, дислоцированных в Иране. Он не любил вспоминать это время, судя по всему, очень для него тяжелое.

Но и в этих условиях Миша оставался поэтом. Он пишет песню «Вот солдаты идут по степи опаленной...». Будучи строевой и вместе с тем глубоко лиричной, эта песня завоевала огромную популярность, стала подлинно народной.

Львовский, с которым я встретился после войны, демобилизовавшийся ранее, работал на радио, в детском отделе, помощником заведующего редакцией школьных передач. Заведующей была прелестная, талантливая Вика Мальт, а Миша среди прочего занимался спортивной передачей «Внимание, на старт!», для которой сочинил песенку, с нее начиналась передача: «Внимание, на старт! Нас дорожка зовет беговая», и еще более ста песен, в том числе написанную с поэтом Кронгаузом, где были такие слова:

Ни мороз мне не страшен, ни жара,  
Удивляются даже доктора,  
Почему я не болею,  
Почему я здоровее  
Всех ребят из нашего двора?  
Потому, что утром рано  
Заниматься мне гимнастикой не лень,

*Потому, что водою из-под крана  
Обливаюсь я каждый день!*

*Это при том, что сам Миша был человеком далеко не спортивным.*

*К тому времени прошла послепобедная эйфория. Уже позади было постановление об Ахматовой и Зощенко, шла борьба с «низкопоклонством перед Западом», нарастала откровенно антисемитская кампания против «космополитизма», ужесточилась цензура.*

*Сейчас никому ничего не говорит имя американки Анабеллы Бюкар, тогдашней то ли стенографистки, то ли секретарши в посольстве Соединенных Штатов. В сорок девятом году в газете «Правда» появилась большая, на целую полосу, статья за ее подписью с разоблачением небезвредной для советского государства деятельности некоторых работников американского посольства. Даже тогда мало кто сомневался в том, что эта пресловутая статья писалась под диктовку представителей соответствующих органов. Говорили, что она влюбилась в какого-то русского, оказавшегося казэбэшником, и, возможно, по доброй воле, а может, и под нажимом, выступила со своими разоблачениями. Не знаю, что уж там было особо опасного для нашего государства, но Мишу статья коснулась самым непосредственным образом. В ней упоминался советский гражданин, заведовавший хозяйством посольства, некий Биндер.*

*Вероятно, я даже не обратил бы внимания на эту статью и во всяком случае никогда не запомнил бы имени ее автора, если бы не этот самый Биндер, оказавшийся родным братом Мишиной матери. Девичья ее фамилия была Биндер.*

*Логика нормального советского человека в такой ситуации подсказывала: ни в коем случае не подавать виду, что эта злополучная статья имеет хоть какое-нибудь к тебе отношение.*

*Миша поступил с точностью до наоборот: он отправился к тогдашнему главному редактору Всесоюзного радиовещания Лапину и сообщил, что упоминаемый в статье Биндер – его родной дядя. Предпочел, чтобы начальство узнало это от него, а не от какого-нибудь бдительного доброхота. Миша был испуган, что вполне естественно по тем временам, и думал, что добровольная явка, честное признание избавит его от неприятных последствий.*

*Не избавила.*

*Вика Мальт рассказывала, что Лапин в разговоре с ней сказал, что уволить Львовского был вынужден именно из-за его признания.*

*– Зачем он пришел ко мне? – недоумевал Лапин. – Кто стал бы выяснять, не является ли этот чертов Биндер его дядей!*

*Для Лапина увольнение Миши было делом естественным и рутинным. В любом случае он проявил бдительность. Тем более что Львовский был евреем. А на дворе – сорок девятый год.*

*Для Миши это было событием, которое не могло не оставить следа в его жизнеощущении.*

*Жил он тогда со своей первой женой Олей в крохотной комнатке в Докучаевом переулке.*

*Я часто бывал у него. Он почти не выходил из дома, жил в страхе, ожидая неизбежного, как он полагал, ареста. К сожалению, его страхи подогревались кое кем из его знакомых доброжелателей. Кто-то обещал выяснить через кого-то, заведено ли на него в «органах» дело. Кто-то предлагал написать Сталину.*

*Мысль эта возникла в связи с забавным эпизодом из его детства. Двадцатые годы, двадцать шестой – двадцать седьмой. Где-то на юге, кажется, в Сочи, Миша живет с матерью в санатории, рядом с дачей Сталина. Однажды за тем, как он резвился в море, наблюдал Сталин с сопровождающими его лицами. Когда Миша вышел из воды, Сталин сказал ему, что он хорошо плавает. Миша похвастался, что может переплыть даже Кубань – он жил с матерью в Краснодаре. Сталин повел его к себе на дачу, расспрашивал о родителях. Он знал и его*

мать, «рыжую Клару», и отца, в свое время помогавшего ему бежать из ссылки в Туруханске. Сталин вручил Мише пакет с фруктами и виноградом и попросил передать матери привет.

Миша поблагодарил и собрался уходить. Провожавший его охранник спросил:

– А ты знаешь, с кем ты разговаривал?

– Нет, – простодушно ответил Миша.

– Это же Сталин! Иосиф Виссарионович Сталин!

Так что мысль о Сталине имела некоторый смысл. Однако мудрый Давид Самойлов обращаясь к «отцу всех народов» отсоветовал:

– Не надо. Может быть еще хуже.

В конце концов Миша решил отправиться на Лубянку. Его приняли весьма вежливо. Слова о том, что своего дядю он мог видеть только в двухлетнем возрасте и никогда с ним не встречался, были выслушаны с пониманием. Ему сказали, что у них нет никаких к нему претензий, но он обращается не по адресу – ведь не они его уволили.

– Вот так, ребята, – как говаривал Зяма Гердт. – Напрасно ты поплелся на Лубянку! Да, напрасно. Но за этим его поступком стоял подлинный страх, чисто советский страх, хорошо знакомый моему поколению.

Однако постепенно он выходил из этого состояния. В значительной степени помогли ему в этом друзья на радио, и в первую очередь Вика Мальт, тоже вскоре вслед за Мишей уволенная Лапиным, его будущая жена Ляля и Николай Александрович, работавший на радио режиссером.

Кстати, именно для Александровича, с которым Миша вместе служил в Иране, он еще в сорок седьмом году, когда тот играл в пьесе Малюгина «Старые друзья», сочинил песню, знаменитый «Глобус»:

*Я не знаю, где встретиться  
Нам придется с тобой,  
Глобус крутится, вертится,  
Словно шар голубой...*

У этой песни, исполнявшейся на мотив шуточной песенки Михаила Светлова, поразительная судьба: она стала одной из самых любимых песен туристов, и не только туристов. Для них стала настолько своей, что неизвестные авторы присочиняли к ней десятки новых куплетов, а имя автора знают далеко не все, кто ее пел, да и сейчас поет.

Передачи Львовского, подписанные другими, давали ему средства к существованию. Но главное все же было то, что они отвлекали его от мрачных мыслей и предчувствий.

К этому времени в его жизни произошло серьезное событие – он разошелся со своей первой женой и стал мужем Ляли. Брак этот был на редкость удачным. Прекрасный редактор, она стала его верным помощником и другом. Он нашел в ней заботливого и верного спутника, сумевшего создать самые благоприятные условия для его жизни и творчества.

В начале пятидесятых Миша с Вадимом Коростылевым написали пьесу «Димка-невидимка». Пьесу поставили в Центральном детском театре. Это был дебют не только самих драматургов, но и первая режиссерская работа Олега Ефремова, будущего создателя «Современника». Пьеса имела успех и шла многие годы.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.